



3. СПОРЫ И МНЕНИЯ ПЕРИОДА «НЕОСЛАВЯНОФИЛЬСТВА»

М. О. МЕНЬШИКОВ

Суть славянофильства

В дни великого гнева Божия, в дни, когда ставится тяжелый исторический приговор, — на что еще остается надежда у несчастной страны? В чем наше спасение? Что может воскресить нас к жизни?

Мне кажется, единственно, на что Россия может опереться, это на *народ* свой. Иных нет заступников, иные не нужны. Мысль о том, чтобы поставить на ноги всю колоссальную мощь самой нации, уже давно признана, но нет решимости дать ей действие. Великая реформа тянется крайне вяло. Со стороны сословий, заинтересованных в старом порядке, делаются все усилия затормозить реформу. Выдвигаются преграды не только бюрократические, но и классовые. Идет решительная пропаганда «реакции», хотя «акция» еще едва намечена. Идет пропаганда идей отживших, осужденных, давно развенчанных, но страшно сильных тем, что они многим «выгодны». В числе доктрин последнего типа следует отметить усиленную проповедь нашей самобытности, проповедь «нового славянофильства». О, не думайте, что это «слова, слова»! Это энергия очень вредная, но кипучая. Это страсть, которая за себя постоит, это сила, которая заслуживает чести бороться с нею. Пусть эта сила призрачная. Ничего нет в борьбе человеческой могущественнее призраков. Ложное, никогда не бывшее, невозможное управляет миром, обращая его в развалины.

О славянофилах давно установилось мнение в том смысле, что это интересное, но уже вымершее американское племя. На немногих журналистов, называющих себя последователями Хомякова и Конст. Аксакова, смотрели как на тех краснокожих, что в цирках «представляют» военное искусство предков. Представление любопытное, но сами представители чахлые и жал-

кие, вызывающие вздох о жребии всего слабого на земле. Как о некоторых исчезнувших народах, ученые спорят: да полно, были ли славянофилы в действительности?

В самом деле, существовало ли когда-нибудь славянофильство иначе, как в виде некоего прекрасного сна полдюжины восторженных русских дворян? Вне поколения русских романтиков 30-х годов, вне их мистического, возвышенного бреда была ли осуществлена утопия Хомякова когда-нибудь на земной поверхности? Если мне укажут хоть один подобный пример, я буду крайне благодарен. Всевозможные формы общечеловечности испробованы на земле, от деспотизма до толстовских общин. Существуют до сих пор прямо кошмарные формы, вроде Дагомеи, где преступления считаются государственной регалией, где король и его близкие занимаются непрерывно убийствами, грабежом, изнасилованием и т. п., и вне этих уголовных правонарушений не несут никаких сколько-нибудь заметных обязанностей. Это кошмар, но не фикция. Не фикция более смягченные формы буддистского и мусульманского деспотизма. Отнюдь не фикция западный конституционализм, ибо он обслуживает порядок всех христианских стран, кроме России и Эфиопии. Далекое не фикция такая непостижимая по широте свободы государственность, как в Америке. Нельзя назвать фикцией даже анархические колонии духовных рационалистов вроде наших духоборов. Но было ли хоть на один момент реализовано на земле что-нибудь похожее на славянофильскую программу? Если вы укажете на старую Москву или прообраз ее в средневековой Византии или Золотой Орде, я решительно отклоню этот пример. Ни в Москве, ни в ее идейных истоках никогда не было второго члена славянофильской формулы. Был абсолютизм, но наряду с ним не было народной свободы, как не было, конечно, соборной церкви. Сколько бы последние могикане славянофильства ни клялись, что в Москве был свободный народ, никто этому не поверит даже ради шутки. Один же первый член формулы — самодержавие, химически чистое, как в деспотизме, славянофилами, как известно, отрицается. Прибавляя свободу народную, они думают, что вносят в идею абсолютизма необыкновенно умную поправку. Соединив два противоположные понятия, плюс и минус, они думают что помирили их навеки, что сейчас же «лев как вол будет есть солому», согласно мечте Исаяи¹. Между тем и здравый смысл, и история свидетельствуют, что названное сочетание легко удастся в мечтательной голове русского помещика или на поверхности всевыносящей бумаги, но в самой действительности, в самой подлинной жизни

подобных операций не бывает. Славянофильство удивительно, но у него один маленький недостаток — оно невозможно. Оно невозможно ни психологически, ни физически. Как древняя химера, полукоза, полулев, полудракон, славянофильство со своими тремя несоединимыми элементами интересно на бумаге, но раз на нем серьезно настаивают, тотчас выступает его нелепость прямо сказочная. Как многие химеры благородны, пока их не осуществляют, славянофильство из возвышенного учения тотчас делается лицемерной и предательской доктриной, лишь только попытаться сблизить ее с жизнью. Увидав на знамени славянофильства «православие, самодержавие и народность», все были восхищены: и православные, и самодержавцы, и народники. Но стоило вникнуть в суть, как оказалось, что православие тут совсем не то, что обыкновенно понимают под этим именем, и самодержавие решительно не то, и народность не та. Как бы поддерживая эти три пункта, славянофильство в действительности ставит их в невозможное положение. С страстным пафосом настаивая, что их учение — русское, самобытное, родное, наше, и даже созданное в противовес чужим будто бы началам, славянофилы старательно скрывают источники своих позаимствований. А между тем, если порасследовать, нет доктрины менее самобытной, менее русской по своим элементам, менее цельной в существе своем. Как одеяло из обрезков разных ситцев, славянофильство сшито белыми нитками сплошь из «заграничных материй» — греко-сирийского, монгольского и немецкого рисунка. Именно русского-то действительно национального, как раз в славянофильстве ничего и нет. В этом смысле «западники», настаивавшие всего лишь на одном пункте — свободе народной, были гораздо национальнее. Они говорили: снимите все давления и путы и предоставьте народу быть тем, чем он может быть, — это и будет настоящее русское, действительно самобытное и национальное. Вне свободы нет возможности даже представить себе нацию, и что такое Россия самобытная — мы еще не знаем, пока она в рабстве. Западники полагали, что Россия была самобытной до татарской, до московской, до крепостной эпохи, а славянофилы самобытность понимали как продукт всех исторических насилий. Немудрено, что в самом себе славянофильство представляет неразрешимые противоречия. Насквозь византийское, вышедшее (через Ив. Киреевского) из Оптиной пустыни, «православие» славянофилов проникнуто идеями гезихастов, афонских мистиков XIV века, близких к ереси². Насквозь ордынское, «самодержавие» славянофилов обращается в звук пустой в соседстве с шеллингианской идеей

органического развития. Насквозь немецкая, идея «народности» как силы активной, обладающей полной свободой самоопределения, сводится на нет абсолютизмом власти, если ставить ее вне народа. Тройная защита древних принципов, будто бы самобытных, является тройной и не совсем изящной мистификацией.

МНЕНИЕ И ВОЛЯ

Я совершенно понимаю императора Николая I, не любившего славянофилов. Он их боялся, он их считал скрытыми врагами самодержавия, — так оно в действительности и было. Я, конечно, не обвиняю благородных мечтателей 40-х годов в коварстве. Как все плохие изобретатели, они слепо верили в свою машину, но бесхитростный человек сразу видел, что на этой машине не полетишь. «Народу — право мнения, царю — право власти», — говорили славянофилы³. Рыцарски прямой, император Николай видел, что мнение народа есть всегда его воля и психологически иначе быть не может. Дать народу свободу мнения значит дать выражение его воле. Это значит во множестве случаев привести народную волю в столкновение с волей монарха. Никакими экивоками и выкрутасами, крайне жалкими и в корне недобросовестными, нельзя устранить коллизии, возникающей при этом условии. Думать вместе со славянофилами, что огромный народ, всем нутром своим пострадавший ту или иную свою нужду и заявивший ее свободно, чуть что — с легким сердцем откажется от нее, — думать это значит не знать несколько человеческой природы. Славянофилы кричат о взаимном доверии, о единении монарха и земли, но именно при их программе единение крайне сомнительно. При первом же серьезном расхождении двух стихий неизбежно начинается трение. Монарх ведь тоже человек. Если данное народное мнение ему кажется неверным, он не может не быть огорчен и в то же время не может и даже не смеет — если он Самодержец — уступить народу. Для устранения недовольства сами собою являются ширмы, то знаменитое «средостение», которое теперь у нас ругают на чем свет стоит. Я менее всего склонен защищать бюрократию, но думаю, что при славянофильской программе она неизбежна. Это буфер, отделяющий друг от друга две великих воли, предохраняющий от толчков. Славянофилы хитро доказывают, что народная свобода возможна только при абсолютной власти и что абсолютная власть может опираться лишь на свободный

народ. Но раз монарху принадлежит вся полнота решения, то народное мнение для него не нужно. Это чувствовали все великие монархи — Петр Великий, Фридрих II, Наполеон I. Народное мнение, как мнение, не только не необходимо, но даже вредно, так как мешает сложиться свободно собственному мнению монарха. Народное мнение (раз оно свободно) даже в самой подобострастной форме является организованным давлением на тот единственный разум и ту единственную совесть, которым предоставлен жребий страны. Славянофилы говорят: монарх должен быть осведомлен, и Земский Собор необходим как орган этого осведомления. Но этот довод совершенно пустой. Какие сведения могут дать о любом государственном вопросе пятьсот депутатов, если ни один данным вопросом не занимался? Пятьсот недоумений, пятьсот обывательских взглядов, почти всегда в высшей степени невежественных. Западные парламенты сами вовсе не занимаются изучением вопросов; последние и там разрабатываются правительством и особыми комиссиями из людей, более или менее подготовленных. Парламентам предлагаются законопроекты, т. е. уже изученные вопросы. Власть на Западе, как и у нас, чувствует великую нужду, но не в осведомленности, а в решимости, и народное представительство всюду имеет именно эту функцию — решать. Нельзя путать этих двух вещей. Отказывая Земскому Собору безусловно в каком бы то ни было праве решения, славянофилы делают участие народа в правлении прямо забавным. Если речь идет только об осведомлении власти, то в распоряжении каждого монарха есть постоянный, никогда не расходящийся, огромный штат администрации, начиная с министров и кончая дворником и сельским десятским. Этот громадный из сотен тысяч людей аппарат представляет собою непрерывно действующую, разбросанную по стране экспедицию не только исполнительную, но и для исследования страны. В смысле сведений этот правительственный аппарат всегда вооружен гораздо лучше, чем парламент. Если Земский Собор необходим, то не как орган только совещания, а в известной степени и решения.

Эволюция власти всюду в просвещенном свете показала, что монарх нуждается именно в этого рода поддержке своего народа. Представляя парламенту законопроекты, монарх как бы говорит: «По точнейшем исследовании данного вопроса всеми средствами, какие дает государственный аппарат, я пришел к такому решению. Решение у меня есть, но недостает решимости, чтобы утвердиться в нем. Обдумайте, проверьте мои доводы, обсудите твердо: согласны вы или нет. Ваше желание утвердит

мою решимость, нежелание — поколеблет ее. Придется или отложить дело, или созвать другой парламент и даже третий, чтобы действительно узнать, в чем нуждается страна». Такова схема западного соуправления монарха и народа. Вся она, весь конституционализм, весь правовой порядок созданы для одной психологической задачи, крайне трудной, для одного момента: решимости. В эпохи, когда общественность держалась насильем, для решимости довольно было случайного каприза. Но слыхком неопровержимо доказано, что насилие в обществе ведет к бессилию и что истинное начало здоровой общественности — согласие. Решимость культурной власти опирается на согласие человеческой стихии, все равно как труд художника опирается на естественные свойства красок или глины. Необычайная сложность культурной государственности делает то, что монарх прямо не берет на себя ответственности в некоторых решениях. Он требует, чтобы эту ответственность сознательно разделила с ним вся страна. Но это возможно лишь при условии, когда страна — чрез доверенных своих представителей — участвует не только в совете, но и решении.

ИМЕНИНЫ СЕРДЦА

Смеясь сквозь слезы на странную жизнь нашу, Гоголь увидел почти всех бесов, которыми было одержимо общество «мертвых душ», и этим бесам понадавал дворянские фамилии. Из всех бесов самый жеманный и приторный — Манилов, тот самый, от которого пошло славянофильство. В славянофильстве та же основная ложь, что в Манилове — мечтательность и несоответствие с жизнью. Совсем плохой хозяин, Манилов любил «паренье этакое», любил «пофилософствовать, углубиться под тенью вяза». В практической жизни он не шел дальше мечты о совершенно ненужном мосте через пруд, между тем как простой немецкий мужик указал бы ему тысячу прорех в хозяйстве. Манилову представлялась кощунством хозяйственная проза. Отцы славянофильства считали гадостью трезвую, деловитую, прочно сложенную государственность на Западе. В самую полночь крепостного права, когда оно свирепствовало, как никогда, славянофилы (Ив. Киреевский и др.) выступили против освобождения крестьян, как впоследствии они же ратовали против железных дорог и т. п. Славянофилы фыркали на Европу, а между тем все, что есть в их доктрине разумного, было украдено у Европы же, и в Европе составляет не мечту, а факт.

Именно там, на гнилом Западе, достигнуто возможное единение верховной власти со страной. Именно там осуществлено местное самоуправление и соуправление монарха с народом. Именно там нет средостения, хотя есть чиновники. Только там свобода народная уравновешена с властью и входит в нее не как канцелярский совет, а как живое решение. Именно там осуществлена — насколько это допускает наша культура — соборность, именно там действует доверие — не подозрительное и трусливое, а искреннее, обеспеченное прочными с обеих сторон гарантиями. Славянофилы вопят на конституционализм, не подозревая, что за исключением некоторых их собственных нелепостей они сами чистейшие конституционалисты. Подобно самоучкам, изобретающим от времени до времени новый порох, наши мудрецы к западной селитре, сере и углю прибавили немножко мусору и думают, что вышло что-то необыкновенно хорошее. Вышла дрянь, но послушайте, с каким высокомерием господя самоучки набрасываются на скромный рецепт Бертольда Шварца!⁴

Вовсе не имея в виду защищать здесь конституционализм, я отмечаю только неискренность славянофильства. Славянофилы, конечно, правы, называя конституционализм «устранением» самодержавия. Но ведь точь-в-точь такое же «устранение» предлагает и славянофильство, какими бы красивыми фразами оно ни заволакивало свою игру. Несравненно искреннее, по-моему, крайние абсолютисты. Те требуют полного, безусловного отречения народа от участия в управлении и от всякого выражения своей воли. Чем менее сознателен народ политически, тем менее возможно его несогласие с верховной властью, и только при этом условии оно подчиняется ей, как тело душе. В абсолютизме есть логика, до такой степени ясная, что даже в конституционных странах не только монарх, но даже президент сохраняет в известных случаях свое самодержавие (абсолютное veto). Как верховный арбитр, правитель не стеснен в этих исключительных случаях никаким «правом мнения». Сравните с этой искренностью виляющую двусмысленность славянофилов. Они сближают две тучи и не дают громоотвода. Ограничивая обе стороны, они обеим твердят о безусловности «прав» обеих.

Повторяю, я далек от того, чтобы приписать какие-нибудь лукавые замыслы апостолам славянофильства. У тех, конечно, не было намерения «обойти» верховную власть или «провести» народ. Те были люди чистые, искренно исповедовавшие «майский день, именины сердца». Если старые славянофилы и были

подкуплены, то безотчетно, — подкуплены духом своей эпохи, романтикой едва сложившейся родной народности... Родившись в золотой век помещичьей культуры, среди обильной природы, среди патриархальной простоты, в непосредственной вере предков, а главное, — придя в мир среди победных громов и неслышанного торжества России, — славянофилы были очарованы началами, на которых сложилось их счастье. По инерции им хотелось существующие начала возвысить и вознести, изумить народы, ибо холодный разум и тогда уже нашептывал, что Запад идет по более верному, по более трезвому пути. Отставшие страны, которым нечего было вспомнить в прошлом, чувствовали потребность оправдать себя хоть в будущем, — отсюда мессианизм в разных литературах, между прочим, польской и русской. «Сказать миру новое слово» — сделалось чуть не манией. Эта мания у нас выдвинула плеяду людей, действительно кое-что сказавших, от Пушкина до Толстого, — и множество людей, говоривших более или менее красивый вздор.

СОСЛОВНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Невинны отцы славянофильства, но дети? О, эти далеко не так невинны, и, мне кажется, пора попристальнее взглядеться в новое славянофильство. Почтенный г. Киреев радуется, что «половина культурной России принимает славянофильскую политическую программу»⁵. Он намекает на московские съезды, главным образом на съезд губернских предводителей и дворянские адреса. В самом деле, если взглянуть со стороны, можно подумать, что русские дворяне, еще недавно совсем беспечные насчет политики, точно по команде сделались славянофилами. Пусть даже не «половина культурной России», но все же заметное большинство маленького двухмиллионного сословия стоит именно за славянофильский принцип. Откуда сие?

Для меня дело объясняется очень просто. Наши новоявленные славянофилы всего лишь дворянофилы. Мечтательная формула старинных дворян не более как сословный лозунг партии, сплотившейся и могущественной, старающейся отстоять свое исконное господство в России. Славянофильство и в зачатии своем, и в расцвете есть простое дворянофильство. Грановский, наблюдавший славянофилов воочию и ведший с ними долголетний спор, говорит, что суть славянофильства — «православная патриархальность, несовместимая ни с каким движением вперед»⁶. Совершенно верно. Патриархальность — это такой поря-

док вещей, где старшие управляют младшими, где создалась поэзия подчинения с одной стороны и поэзия власти с другой. «Мы ваши, а вы наши», — говаривали в крепостное время. Нынешнее дворянство отлично помнит золотой век, когда оно в своих идиллических усадьбах было окружено народом безропотным, покорным, отдавшим во власть ему всю свою рабочую силу, всю судьбу. Дворянство помнит свои старые, прямо державные права в государстве. Оно хорошо сознает и теперешнюю свою роль и естественно примыкает к формуле, обеспечивающей ему господство. Славянофильство, насколько оно вообще возможно, выгодно исключительно для того порядка, где одно сословие управляет всеми остальными, где между верховной властью и народом стоит класс, принимающий в себя все полномочие сверху и всю покорность снизу. Как компромисс, славянофильство наносит чувствительный ущерб обеим сторонам, которые связывает, и в то же время дает огромные выгоды посреднику, устраивающему эту связь. До сих пор посредником между властью и народом была бюрократия, т. е. то же дворянство, одетое в мундиры разных ведомств. Теперь подыскивается общее знамя, общедворянский политический мундир. Превратившись в партию, бюрократия не прочь назвать себя славянофильством. Цель остается прежняя — сохранить государственное посредничество, отстоять — говоря вульгарно — свои «комиссионные». Вся история России за эти двести лет состоит из двух процессов: с одной стороны, никнет народ и все большие затруднения испытывает верховная власть, с другой — страшно множится и расцветает дворянская бюрократия. Пусть в окончательном итоге мы приведены к неслыханному позору, пусть мы дожили до того, что небольшой идолопоклоннический народ не только победил нас, но и требует, чтобы мы просили мира не иначе, как «на коленях» (on the knees), служилое сословие, которому мы этим обязаны, отстаивает все ту же старую патриархальность нашего быта, все то же исключительное право руководить нацией. В этом крепостном на огромную «вотчину» праве, как мне кажется, весь смысл и разум нового славянофильства. К этой теме позвольте вернуться особо.

